

ЗАМЕТКИ

Д. С. ЛИХАЧЕВ

Несколько замечаний по поводу статьи Риккардо Пиккио¹

Р. Пиккио принадлежит обстоятельный и внимательный разбор моего доклада на IV международном съезде славистов «Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России» (М., 1958).

Целый ряд сторон моего доклада оценивается Р. Пиккио положительно, им вносятся дополнительные соображения, поддерживающие мои выводы, однако весь интерес работы Р. Пиккио состоит, по моему мнению, в тонких критических замечаниях.

Исследования формы и идеологическая экзегеза

Р. Пиккио упрекает меня за отсутствие «равновесия между критерием технико-лингвистического исследования и критерием культурно-идеологическим» (стр. 189). Р. Пиккио пишет: «Лихачев колеблется между исследованием формы и идеологической экзегезой» (там же). Как будет ясно из дальнейшего, в своей работе я не противопоставляю анализ формы анализу идеологии памятника. Вот почему у меня нет и колебаний между тем и другим, а есть попытка сочетать одно с другим. Достигает ли эта попытка своей цели? Думаю, что некоторые стороны вопроса требуют, в результате критики Р. Пиккио, разъяснений и дополнений.

Особенно интересным представляется мне следующее рассуждение итальянского ученого:

«Лихачев считает, что тенденция к „абстрагированию“ речи подтверждается, например, в „Житии Бориса и Глеба“ употреблением вместо конкретных имен таких формул, как: „некий“, „некто“, „един“ (вельможа некий, мужъ некто, человек единъ), в других текстах — механическими аналогиями из священного писания, использованием готовых оборотов, формул, утвержденных церковным обиходом и рутинностью авторов. Цитируя в этой связи Б. Томашевского (стр. 29—30), автор принимает концепцию, согласно которой, „подновление словесных ассоциаций“ конкретизирует образы и художественный замысел, в то время как привычные словесные ассоциации уничижают конкретность. В свете этих высказываний мы должны были бы сделать вывод, что древнерусская стилистическая „абстракция“ есть кристаллизация формул, неспособных примениться к новому содержанию, литературный симптом умственной негибкости, проистекающей от религиозного догматизма. Как же реагирует на этот процесс окаменения, по мнению автора, новое стилистическое на-

¹ R. Picchio *Prerinscimento est europeo e Rinascita slava ortodossa. (A proposito di una tesi di D. S. Lichachev)* — *Ricerche Slavistiche* Roma, 1958, vol. 6, стр. 185—199.

правление „второго южнославянского влияния“? Прежде всего, — вводя в литературу „до экзальтации повышенную эмоциональность“ (стр. 31), а также усиливая „экспрессивность и эмфатичность“ выражения (стр. 31—32). Чтобы установить более непосредственный контакт с читателем, представители стиля „плетения словес“ прибегают к таким средствам, как повторение одного и того же понятия в многочисленных подобранных синонимах, привлекая внимание читателя игрой слов, насыщенных таинственными намеками, пытаясь скорее поразить воображение, чем убедить логической аргументацией. В общем речь идет о разрыве с утяжеленной литературной техникой прошлого, об отходе от готовых сочетаний и фраз в страстных поисках выразительных средств. Лихачев отмечает, что авторы 15 века уходят от старых тем («Авторы ... подыскивают слова и образы, не удовлетворяясь найденным...»), чувствуют недостаточность языка, жалуется на собственное бессилие полностью выразить идеи, оценивают значимость слова во всем богатстве его содержания («авторы житий постоянно говорят о своем бессилии выразить словом всю святость святого... пишут о своем невежестве, неумении, неучености, молятся о даровании им дара слова... сами слова оказываются дороже „тысящ злата и серебра“, дороже злата и „тимпазия“, дороже камни „самфира“ и слаще меду...» — стр. 35).

«Как же в таком случае примирить новый стиль с общей древнерусской тенденцией к „абстракции“? Если, основываясь на предыдущих указаниях автора, понимать „абстракцию“ в значении негибкости формул и вытекающей отсюда ограниченности в выборе стилистических средств, то не было бы сомнения в „антиабстрактной“ направленности у представителей стиля „плетение словес“. С этой точки зрения школа „южнославянского влияния“ представляется нам устремленной к поискам „конкретного“, т. е. к реальному соотношению между формой выражения и значением, между формой и содержанием».²

Остановлюсь на последнем замечании Р. Пиккио. Он считает, что «конкретное» (в противоположность абстрактному) есть реальное соотношение между «формой выражения и значением, между формой и содержанием», т. е. «конкретность» для Р. Пиккио равняется точности выражения. Именно такова «конкретность» и для Б. В. Томашевского, цитату из «Теории литературы» которого я привел в своей работе, не разъяснив различия между его и моим употреблением этого слова.

Между тем, когда я говорю о конкретности, я имею в виду «материальность», «вещность», «единичность явлений» внешнего мира, которые стремится подчеркнуть, выявить конкретизирующий художественный метод. Абстрагирующий художественный метод стремится выявить в действительности общее вместо единичного, «духовное» вместо материального, внутренний, религиозный смысл явлений. Абстрагирующие тенденции могут быть отмечены и в высоком стиле XI—XIII вв., и в новом, так называемом южнославянском стиле конца XIV—XV в., но характерно, что в обоих случаях перед нами «высокие» стили и эти высокие стили тесно связаны с сугубо церковными сюжетами. Абстрагирование может быть отмечено в житиях и проповедях, но его не будет в собственно летописном стиле — там, где нужна регистрация единичных явлений. Художественное задание определяет выбор средств.

Абстрагирование не едино. Оно может иметь существенные нюансы. Стиль русской церковной литературы времени второго южнославянского

² Переводы выдержек из статьи Р. Пиккио принадлежат Р. М. Гороховой.

влияния вносит в эту абстрагирующую тенденцию чрезвычайно сильную и характерную особенность: до экзальтации повышенную эмоциональность.

Для Р. Пиккио неясно из моего доклада, «в каком смысле общее мировоззрение авторов XV в. является „абстрактным“». Действительно, этому вопросу я не смог уделить достаточное внимание в докладе. Перед нами очень своеобразное явление: в конце XIV и в XV в. появляется повышенная эмоциональность, но она тоже в известной мере «абстрактна»: чувства «обобщены», они лишены индивидуальных черт, мало связаны с носителями чувств, не сочетаются друг с другом и не слагаются в сложную картину душевной жизни. Характер человека еще не открыт. В литературу вторгаются бурные эмоции, но нет эмоций индивидуальных, нет их индивидуальных, конкретных сочетаний. Стремление проникнуть во внутреннюю жизнь человека не соединяется еще со стремлением к выявлению индивидуальных свойств человека. Человек крайне обобщен, выступает в своих вечных свойствах. Прекрасная характеристика этой «готической эмоциональности» и обращение к внутренней жизни имеются в книге Маля (Em. Mâle. *L'art religieux de la fin du Moyen âge en France. Paris, 1925*). Явления, свойственные французскому искусству, близки искусству (и литературе в том числе) русскому, несмотря на различие исторической действительности.

Эмоциональный стиль XV в. еще не конкретизирующий. Он продолжает пользоваться трафаретными сочетаниями, устойчивыми формулами. Поиски слова, которые Р. Пиккио отождествляет со стремлением к конкретизации, на самом деле являются поисками точности выражения все еще абстрактного содержания, но чрезвычайно усложнившегося благодаря развитию эмоциональности. Авторы конца XIV—начала XV в. ищут по преимуществу цитаты из «священного писания», ищут устойчивые выражения, словосочетания, формулы, прибегают к калькам с греческого. Это поиски словесного материала, но материала уже готового. Вот почему в новом стиле конца XIV—XV в. так много повторений старого, идущего от XI—XIII вв. (Иларiona, Кирилла Туровского и пр.). Возвращение к «своей античности» ощущается даже в стилистических исканиях конца XIV—XV в., которые, как я уже сказал, нельзя смешивать с поисками конкретности.

«„Восточноевропейское предвозрождение“ или возрождение славянского православия»?

Признавая ценным наблюдение над единством самых разнообразных культурных явлений XIV—XV вв. в рамках всей восточноевропейской культуры, Р. Пиккио предлагает называть культурное движение, охватившее в это время Византию, Болгарию, Сербию, Россию, Кавказ и часть Малой Азии, не «восточноевропейским предвозрождением», а «возрождением» или «новым подъемом» славянского православия (русское резюме, стр. 199). Я лишен возможности привести по этому поводу всю аргументацию Р. Пиккио. Укажу только на два главных аргумента: реформа Евфимия охватила только славянские страны; существовало в качестве наднационального явления «православное сознание», которое усиливается в конце XIV—XV в.

Думаю, однако, что стилистические явления XIV—XV вв., о которых шла речь в моем докладе, явились отражением византийских лингвистических теорий, связь с которыми недостаточно еще изучена. Р. Пиккио не отрицает связи евфимиевской реформы с византийско-славянским исихазмом. Но связь явлений еще шире и если не в литературе, то в образном искусстве захватывает и другие, неславянские страны. Следова-

тельно, говорить о «славянском» возрождении православия или о возрождении «православного славянства» (*Rinascita slava ortodossa*) значит сужать явление.

Не следует, как мне представляется, подменять количественным определением качественное. Ведь если мы говорим о «возрождении православного славянства», то этим мы никак не определяем качества нового явления, его характера, подчеркивая лишь общий, «количественный» подъем, переживавший славянством в XIV в. (о подъеме славянства в XV в. говорить уже невозможно: в Болгарии и Сербии во всяком случае). Термин же «Предвозрождение», предлагаемый мною, указывает на своеобразие культурного движения XIV—XV вв., на его мировые, наднациональные связи, определяет его типологически. С другой стороны, если употреблять не термин «возрождение православного славянства», а термин «возрождение славянского православия», то такое определение культурного движения XIV—XV вв. будет еще более неправомерным. Разве православие в предшествующие века переживало период упадка? Неправильно, кроме того, сводить крупное культурное движение к одному только подъему церковной религиозности, тем более что в движении XIV—XV вв. большую роль играли противоцерковные еретические и близкие к еретичеству направления.³ Сам Р. Пиккио утверждает: «Возрождение славянского православия» в литературе представляет собой лингвистическое возрождение» (стр. 197), т. е. отмечает в культурном движении XIV—XV вв. светские элементы, элементы умственной жизни, не покрываемой понятием церковности.

Риккардо Пиккио принадлежит обширная и в целом весьма богатая материалом история древней русской литературы (R. Picchio. *Storia della letteratura russa antica*. Nuova Accademia editrice, 1959, 416 стр.). Одна из глав этой книги посвящена тому же возрождению православного славянства («*La rinascita slava ortodossa*»). В этой главе, помимо второго южнославянского влияния, рассматриваются «Задонщина», вся литература Москвы, Новгорода, Пскова, Твери, Смоленска, Муром, Рязани, даже «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Нельзя не видеть крайней искусственности такого построения.

Полемическая статья Р. Пиккио способствует достижению полной точности в изучении литературного движения XIV—XV вв., связанного с восточноевропейским предвозрождением. В этом ее существенная ценность.

³ См. об этом в работе: K. O n a s c h. Renaissance und Vorreformation in der Byzantinisch — slawischen Orthodoxie. — Aus der byzantinistischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik, I. Berlin, 1957.